

РАЗГЛЯДЕТЬ ЗИМОРОДКА

Рассказы

НА БЕРЕГУ РЕЧКИ ПУЗЁНКИ

Если ехать по трассе мимо нашего села, перед коротким бетонным мостом можно увидеть голубую табличку с белой надписью — «р. Пузёнка». И пассажиры проносящихся по мосту авто пытаются разглядеть, что это за речка такая, с таким смешным именем, но успевают увидеть лишь зеленые заросли тальников и белые стволы берез...

На берегу речки Пузёнки кудрявится трава. Над головой с пронзительными криками носятся ласточки. Кошка крадется лопухами с обомлевшим пудиком в зубах. За спиной — дорога и дедов дом с голубыми наличниками и красными геранями в окнах. Слева — большая трасса и новый бетонный мост, справа — старый деревянный мост. Здесь, под боком у деревянного моста, мы с дедом почти каждый вечер и ловим огольцов.

Весь день дед портняжничает в светлой терраске, весь день из нее доносится неутомимый стрекот старой швейной машинки «Зингер». Машинка большая, на чугунной основе, с ножным приводом, черная, изящная, с золотыми витиеватыми немецкими буквами на талии. Время от времени в терраску заглядывают клиенты, в широкие окна видно, как дед набрасывает на них полуготовые свои произведения, что-то подкалывает, прочеркивает белым мелком, бесцеремонно ворочает посетителей, словно манекены. Но вот солнце скатывается с теплого летнего неба, висает над корявой ветлой, стрекот стихает, и дед звенит в сенах ведерком...

Оголец — небольшая, с детскую ладошку, рыбешка. По виду что-то среднее между вьюном и пескарем. Жирная, бесчешуйчатая и бескостная, она легко чистилась и хорошо шла жареной с яйцами в русской печке. Ловилась чрезвычайно просто. Удочка сооружалась из любого более или менее гибкого прутика, к которому привязывалась обычная черная нитка. Поплавок изготавливался из светлой щепки или обломка гусяного пера. Все. Крючок не требовался. Прямо к концу нитки привязывался толстый червяк-выползок (глиста, как говорили местные ребятишки) и нитка забрасывалась в илистую воду речки Пузёнки. Оголец разыскивал червя в мутной воде по запаху и жадно заглатывал. Поплавок, как и положено, дергался, нырял, ходил по воде. И тут нужно было проявить терпение: не тянуть сразу удочку, а выждать, и лишь потом быстро, но не резко вытягивать рыбу из воды. Порой уже в воздухе оголец успевал выплюнуть червяка, но по инерции летел на траву...

Мы садимся на кудрявую травку у самой воды и забрасываем наживку в мутную Пузёнку. Мне хочется налить в ведро воды, но дед не разрешает: раньше срока нельзя, плохая примета — не поймав рыбку, воду не наливают!

По старому мосту время от времени проходят люди. Кто торопится, здоровается с дедом на ходу, кое-кто, опершись на разошедшиеся перила, останавливается поболтать. А кто-нибудь обязательно сворачивает к берегу и присаживается на корточки рядом с нами.

Сегодня на берег пришел Седой, и я сразу почувствовал, как дед напрягся. Седой тоже чувствовал это, и если бы он был без удочки — не задержался бы. Но был он с удочкой и, пристроившись рядом с нами, принялся ловить огольцов. Дед не то чтобы не любил Седого, но как-то сторонился. Все село знает, что Седой сидел в лагерях, и хоть его в конце концов отпустили, но в родной город вернуться не разрешили, и у местного начальства он был на подозрении. Так что деревенские старались дел с ним не иметь.

Дед и сам одно время ходил в неблагонадежных и... Про деда мне тайком рассказала бабушка. Дед во время войны попал в плен. Про плен он сам мне рассказывал. С железнодорожной станции где-то под Москвой шли к линии фронта. Командир-лейтенант был с ускоренных курсов, неопытный, как говорил дед, «глупень-глупенём», заблудились, устали, набрали на какую-то землянку, повалились на нары, охрану не выставили. А утром проснулись от немецкой речи. И тут — говорит дед — летят в отдушину и в дверь гранаты. Деда спасло то, что лежал он в глубине нары, и те, что были с краю, приняли все осколки на себя...

В общем, через месяц дед оказался в Германии: то в концлагерях, то на работах у немецких фермеров. Били его до полусмерти (картофельную шелуху для друзей в концлагере из свинячих кормушек своровал), три раза бежал, был затравлен овчарками, но выжил и был освобожден американцами.

Вернулся домой. И тут стали доходить неприятные слухи. То одного бывшего военнопленного забирали, то другого. Председатель колхоза коситься стал: неизвестно, чего это ты в плену делал, не дезертир ли? А тут еще

рядом с деревней, километрах в десяти всего, появился секретный поселок. То есть про городок-то все знали, но его неожиданно обнесли колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, и говорят, начали строить огромный подземный атомный завод. Требования по благонадежности к жителям окрестных сел резко повысились. Дед ждал, когда за ним придут, перестал спать, похудел, осунулся...

И вот, рассказывала бабушка, как-то в воскресенье сидели они в передней, чай пили, глядя в окно — а по дороге пылит черная легковая машина. И прямо к их избе. Вот прямо к этому самому дедову дому, что на берегу Пузёнки. Дед чашку выронил, и словно паралич его разбил, а бабка бросилась узел собирать — подштанники там, сухари, махорку... Входит в избу генерал, за ним двое офицеров. Павел Васильевич здесь живет? Здесь. За деда бабушка отвечает, дед сидит белый — ни встать, ни слова сказать не может. А генерал говорит: правда, что вы Павел Васильевич, хороший портной, и офицерскую форму шить умеете? Правда, опять же отвечает за деда бабка. А генеральскую шинель быстро пошить сумеете? К праздникам? Тут уж до деда дошло, что арестовывать его не собираются, вскочил, за метром, за тетрадкой своей бросился — мерку снимать. Да я, говорит, вам ее за неделю сверстаю! В общем — хеппи энд. Генерал обмеренный уехал, дед с радости напился, а через час вся деревня только и судачила, что про дедову удачу. К вечеру сам председатель колхоза явился, потряс пьяного деда за плечо: Пал Василич, ты тёсу просил на крышу, есть тёс-то, приходи в правление, выпишу...

И хоть обшивал с тех пор дед весь гарнизон секретного городка, а все ж с Седым водиться опасался. Была в этом какая-то непонятная мне трещина. Ведь совершенно ясно, что Седой, несмотря на его прошлое, хороший человек. Стоило только посмотреть в его ясные спокойные глаза, чтобы понять это. И дед был человек героический, тут не было никаких сомнений. Так отчего же два хороших человека, симпатичных друг другу (а я это чувствовал), не могут просто дружить, должны скрывать свои симпатии? Почему смелый, безусловно, дед чего-то боялся, почему Седой говорил так, будто кто-то все время подслушивал?..

Дядя-Ваня-Коммунар приходил к берегу редко, он целыми днями возился в своем знаменитом малиннике — все что-то подвизывал, подрезал, пропалывал. Но уж если приходил — не с пустыми руками: в небольшом тазу с ржавыми пятнами на месте отбитой эмали всегда высилась гора отборной малины. Дядя-Ваня-Коммунар угощал всех, ему — что дед, что я, что Седой. Он один со всей деревни не боялся ходить в Седому в гости.

Дядю-Ваню-Коммунара считают сумасшедшим. Отчего — неясно. Он не смеется диким смехом, не гоняется за людьми с топором. Просто он считает, что все люди братья, и на земле обязательно наступит коммунизм. И говорит об этом всем и каждому при любом удобном случае. А сам живет так, будто коммунизм уже наступил. Любой мог войти к нему в дом и взять что надо. Или попросить денег, и если они у Дяди-Вани-Коммунара были, он их без слов отдавал. И никогда не просил вернуть. При этом ему отчего-то не давали говорить на партсобраниях, начальство его сторонилось, и однажды, когда он прилюдно обозвал председателя вором и врагом народа, его забрали в больницу. Вернулся он оттуда через полгода, но нрава не переменял, только еще горячее стал проповедовать приход коммунизма и агитировал переделать колхоз в коммуны. Тогда-то и получил свое прозвище. Что неправильного в Дяде-Ване-Коммунаре — мне непонятно, нам ведь и в школе чуть ли не на каждой линейке говорят, что уже мы будем жить при коммунизме... В общем, опять какая-то трещина между словами и жизнью. Как будто кто-то невидимый, но всесильный, заставляет людей говорить то, во что они не верят, делать одно, а думать другое. И это не нравилось мне в жизни взрослых. Но думать об этом долго не хочется. Очередной оголец летит на траву, очередная малинка падает в рот. Дядя-Ваня-Коммунар горячо спорит с Седым, и даже дед, забыв осторожность, встречается в непонятный мне разговор, отчего-то про кукурузу...

Как же хорошо жить на белом свете! От деревянного моста тянет смолой, которая смешивается с запахом сочащейся сладостью малины, и травяным духом, и запахом тинистой воды, и дальним запахом подсыхающего сена. Ласточки стригут прибрежные тальники, обещая ночной дождь, снулые огольцы взбулькивают в ведерке, мужики закуривают приятно вонючую махорку и умолкают, лишь изредка подавая голос:

— Шурка, подай-ка глисту...

Когда солнце зацепилось за крышу дедова дома, и на берег выползла прохладная, пахнущая смесью полыни и крапивы тень, пришел Колюн. Руки у него грязные, лицо запыленное, а улыбка белозубая, как у Чкалова с плаката в колхозной конторе. Колюн мне нравился. Да и дед относился к нему с какой-то сдержанной, но плохо скрываемой любовью. Открытый, улыбчивый, в тельняшке, выглядывающей из-под ворота темной рабочей рубашки, он просто лучился какой-то бодрой и дикой силой, но не страшной, а добродушной. И был неуловимо нездешним. Колюн говорил: меня ранило море, меня ранила воля. Словно неизвестное стихотворение. Колюн рассказывал про то, как служил во флоте, как поступал, да не поступил в морской институт. Хотел быть капитаном дальнего плавания, а стал капитаном комбайна «Колос». За ним, по словам деда, бегали все девки окрестных сел, а он чего-то тосковал, иногда запивал и все мечтал, что поступит-таки в морской институт. Дядя-Ваня-Коммунар считал, что в беде Колюна виноваты евреи, которые позасели в институтах и не дают русскому человеку продохнуть, Седой с ним насмешливо, словно с ребенком, спорил, а дед уклончиво молчал...

Уже в слепых сумерках, когда поплавки стали сливаться с водой, рыбалка заканчивается, все, кряхтя, поднимаются, сматывают корявые удочки, вытряхивают на траву нечаянно помилованных червей. Я бреду, враз устав и почти засыпая, за дедом к избе. Булькают в ведерке приговоренные к жарёхе огольцы, корова лениво взмывает со двора, толстый кот путается под ногами в предвкушении рыбных потрошков, трется полосатым

боком о штанину. А на поверхность сознания неспешно всплывают странные неясные мысли. О Седом, о Дяде-Ване-Коммунаре, о Колюне. Какие они все разные, а все ж таки чем-то неуловимо и неумолимо связаны. А чем связаны — неясно. Но ясно, что связаны. Вот Седой сидел в Сибири, а дед не сидел, но отчего же они так похожи? И почему отсидевший Седой вроде как жалеет деда-фронтовика? И почему Дядю Ваню-Коммунара все считают ненормальным, если он хочет, чтобы все были счастливы? Какой он большой и сложный — этот мир, и здешний, видимый, и дальний — за околицей деревни, за холмами и оврагами, из которых течет к селу речка Пузёнка, сколько в нем проживает разных людей, и каждый человек не просто так, в каждом своя история, которая была сама по себе и до того, как ты встретился с ним, и будет после того, как он уйдет, и ты никогда не узнаешь — а что дальше? Разве что о самых близких...

Березы на берегу речки Пузёнки вырастут большими и кудрявыми, берег будет все таким же зеленым, но самой речки не станет. Руслó высохнет и зарастет травой, старый деревянный мост постепенно разрушится. Колюн повесится, когда мне стукнет пятнадцать. О его смерти будет много пересудов, но я так никогда и не узнаю, в чем причина его ухода, хотя в душе моей теплится догадка о том, что ему слишком тесно стало в нашем узком, душном и грязноватом мире. Дядя-Ваня-Коммунар пропадет однажды зимой, когда мне исполнится двадцать. Его найдут весной в поле с пробитой топором головой. Малинник его постепенно придет в запустение и выроится. Коммунизм не только не будет построен, но и сам социализм, как тот малинник, сойдет на нет. Седой исчезнет из моей жизни тихо и незаметно. Вроде бы его реабилитировали, он вернулся в город и там умер. Пройдет время, и об этих людях никто, кроме меня, уже и не вспомнит с жалостью и печалью. Время высыхает, высыхает память, жизнь в человеке высыхает, даже вечная речка и та высыхает...

Если ехать по трассе мимо нашего села, у старого бетонного моста можно увидеть табличку — «р. Пузёнка». Но это обман, нет никакой Пузёнки...

УНДЕРВУД

Нынче то старинное, помнящее пыль, поднятую войсками Ивана Грозного, проходившего здесь по дороге на Казань, село, куда я каждым летом приезжал к деду Василию, почти зачахло. Молодые и не сильно пьющие подались в ближний городок, соблазненные благами цивилизации и легкими заработками, сильно пьющие почти все лежат под рябинами и березами тихого кладбища, а в еще не заколоченных и не проданных под дачи домах доживают век старики и старухи, которым в молодые годы и в голову не могло прийти, что жизнь повернется так, что на селе вдруг не окажется рабочих рук, а поля зарастут бурьяном и горькой полынью...

А когда-то село с утра до вечера гудело и шевелилось пчелиным роем, живым муравейником, грачным гнездовьем.

Тархтели по апрельским жирным пашням трактора, красные комбайны пылили по спелым августовским жарким полям, скрипели по зимникам широкие сани, запряженные раскормленной седой от инея колхозной лошадкой, игрались развеселые осенние свадьбы, и мало в каком доме было меньше трех ребятишек.

И не сказать, что жизнь текла легко и безбедно. Родимое наше государство изгалялось над колхозником, как могло: то вводя налог на каждый смородиновый куст и на каждую курицу, то объявляя небольшие и зажиточные деревеньки неперспективными, то загоняя селян в двухэтажные панельные халупы, борясь с подсобными хозяйствами... А все ж таки народ и поработать мог да и повеселиться уметь...

И разливался томными вечерами над тонущей в синих сумерках деревней хулиганский голос гармоники. Или на лавочке у дома, или на бревнах свежего сруба на выселках, а то и просто на берегу мутной Пузёнки, окруженный парнями и девками, куражился над своей хромкой рыжий мальчишка — Ундервуд. Что он, негодай, выделялся!

Нарядная шуйская гармоника попала в Шуркины ручонки, когда ему едва исполнилось пять. Поздно вечером подвыпивший Карасев-отец привез из райцентра инструмент, а с самого утра Шурка завладел им и никому не отдавал, закатывая в ответ на малейшие попытки такой рев, что все махнули рукой. Весь день он сидел на крыльце в потоках июньского солнца, обманчиво похожий на рыжего Купидона, и извлекал из хромки писклявые звуки, а под вечер, к изумлению домашних, вывел заливчатого «Сормача», которую играли на всех свадьбах и гульбищах. Старший Карасев, кое-как пиликавший на гармонике популярные песенки, наиграл младшему несколько мелодий, и тот не только схватывал их с полужвука, но и тут же выдавал чисто и бойко. Через несколько дней народ толпищами ходил к карасевой избе смотреть на рыжее дарование, а дед Василий, услышав игру Шурки-карасенка, припечатал его словом, которое не каждый с первого раза смог и повторить: «Ундервуд». Понятное дело, деда подвела память, и он, конечно же, имел в виду вовсе не пишущую машинку некогда известной заграничной марки, а слово «вундеркинд». Хотя, кстати, именно в то время в орготделе райкома партии как раз доживала век, шепелявя и заикаясь, машинка именно этой фирмы. Но для деревенского непритязательного слуха что «ундервуд», что «вундеркинд» — одна малина. Так и приклеилось к Шурке это прозвище навеки. И понятное «Рыжий», которое носить бы Карасенку до самой смерти, заменилось непонятным и оттого почетным «Ундервуд».